**Литература Группы 14/0 УНК, ДО**

**15.06. 2020 срок выполнения: 17.06.2020**

**Тема: В. Шаламов «Колымские рассказы».**

**Задание: Дайте развернутый ответ на вопрос ( на материале лекции и рассказа «Первая смерть»): Особенности раскрытия лагерной темы в «Колымских рассказах» В. Шаламова.**

Варлам Шаламов родился в 1907 году в Вологде. Отец будущего писателя был священником русской православной церкви. Кодекс чести, который для Тихона Николаевича был едва ли не важнее, чем религия, нашёл отклик в душе сына и во многом сформировал характер будущего писателя. Близкие отношения у Шаламова с матерью, которая была домохозяйкой.

В 1924 году семнадцатилетний Варлам Шаламов уезжает из Вологды в Москву. Первые два года в столице он работает дубильщиком на кожевенном заводе, а после поступает в МГУ на факультет советского права. Он ведёт активную студенческую жизнь. В 1929 году его арестовывают по обвинению в распространении политического завещания Ленина. Три года писатель проводит в Вишерских лагерях на Северном Урале. Позже в своих воспоминаниях Шаламов напишет, что воспринял заключение как неизбежное испытание, данное ему для пробы нравственных и физических сил. После возвращения Шаламова в Москву в 1932 году литература и журналистика становится главным делом его жизни. Он печатается в журналах «Вокруг света», «Литературный современник» и других. В 1936 году в первом номере журнала «Октябрь» выходит рассказ Шаламова «Три смерти доктора Аустино». В 1937 году происходит второй арест по доносу за контрреволюционную троцкистскую деятельность. Его приговаривают к 5 годам заключения в исправительно-трудовых лагерях. Шаламов попадает в самое пекло ГУЛАГа – на Колыму. В 1943 году его осуждают повторно по доносу солагерников «за антисоветские высказывания». На самом деле писатель назвал эмигранта Ивана Бунина классиком советской литературы. Шаламов получает ещё 10 лет тюрьмы. Каторжный труд на золотодобывающих приисках, на лесоповале, в угольных забоях тяжело сказывается на здоровье. Он несколько раз был «доходягой». В 1946 году Шаламов заканчивает фельдшерские курсы, и его берут на работу в Центральную лагерную больницу, где он, оставаясь заключённым, работает фельдшером до освобождения в 1951 году. В 1949-1950 гг., находясь на таёжном медпункте «Ключ Дусканья», он начинает тайно писать стихи., которые в 1952 году посылает Б.Пастернаку.

В ноябре 1953 года Шаламов уезжает с Колымы и до реабилитации в 1956 году работает на торфопредприятии на «101-м» километре» от Москвы, в Калининской (Тверской) области. В это время он встречается и переписывается с Пастернаком, который высоко ценит его стихи. До 1956 г. Шаламов написал около 500 стихотворений, которые составили шесть сборников «Колымских тетрадей» (не изданных при жизни). Первые рассказы о пережитом на Колыме он начал писать в 1954 году, но никому их не показывал. Только в 1962 году он предложил их журналу «Новый мир» и издательству «Советский писатель», но их отклонили. Его обвинили в том, что рассказы – «антигуманистичны», в отличие от повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича», где есть «положительный герой», который хорошо трудится в лагере. «Колымские рассказы» так и не были напечатаны в СССР при жизни автора, они печатались в «пиратских» изданиях без ведома автора на Западе. Проза Шаламова стала широко известна среди читателей лишь период перестройки. Сейчас Шаламов признан классиком русской литературы.

Комментируя концепцию «Колымских рассказов», автор говорит так: «Современная новая проза может быть создана только людьми, знающими свой материал в совершенстве, для которых овладение материалом, его художественное преображение не являются чисто литературной задачей, а долгом, нравственным императивом». При этом Шаламов не относится к своей литературе, как к документалистике. В эссе «О прозе» писатель утверждает: «В “Колымских рассказах” дело в изображении новых психологических закономерностей, в художественном исследовании страшной темы…

Шаламов пишет, что для его произведения существенно то, что в нём показаны новые психологические закономерности, новое в поведении человека, доведённого до уровня животного. Писатель говорит: «Эти изменения психики необратимы, как отморожения. Память ноет, как отмороженная рука при первом холодном ветре. Нет людей, вернувшихся из заключения, которые бы прожили хоть один день, не вспоминая о лагере, об унизительном и страшном лагерном труде».

Писатель тонко рисует психологию взаимоотношений своих персонажей, демонстрирует изменение психики и восприятия заключённых. В рассказе «Термометр Гришки Логуна» Шаламов пишет: «…Кто бы тогда разобрался, минута, или сутки, или год, или столетие нужно было нам, чтобы вернуться в прежнее своё тело – в прежнюю свою душу мы не рассчитывали вернуться назад. И не вернулись, конечно. Никто не вернулся».

Перед читателями предстают разные сюжеты из лагерной жизни Шаламова и каждый из них, как болезнь, как ноющая рана. Невозможно поверить в то, что человек может выжить в таких невыносимых условиях. В рассказе «Перчатка» мы читаем: «Я – доходяга, кадровый инвалид прибольничной судьбы, спасённый, даже вырванный врачами из лап смерти. Но я не вижу блага в моём бессмертии ни для себя, ни для государства. Понятия наши изменили масштабы, перешли границы добра и зла. Спасение может быть благо, а может быть и нет: этот вопрос я не решил для себя и сейчас».

Тему разрушения личности писатель раскрывает в рассказе «Хлеб». В нём показаны голодные заключённые, которые с вожделением ждут рыбные хвосты. Шаламов так описывает этот момент: «…поднос приближался, и наступала самая волнующая минута: какой величины обрезок достанется, менять ведь было нельзя, протестовать тоже, всё было в руках удачи – картой в этой игре с голодом. Человек, который невнимательно режет селедки на порции, не всегда понимает (или просто забыл), что десять граммов больше или меньше – десять граммов, кажущихся десять граммов на глаз, – могут привести к драме, к кровавой драме, может быть». Но самое главное для арестанта – это хлеб. Заключённым в ГУЛАГе выдавали пятьсот граммов на сутки. Однако, как пишет Шаламов, «хлеб все едят сразу – так никто не украдёт, и никто не отнимет, да и сил нет его уберечь. Не надо только торопиться, не надо запивать его водой, не надо жевать».

Финалом «Колымских рассказов» является текст «Сентенция» – одно из самых загадочных произведений писателя. Он начинается со слов: «Люди возникали из небытия – один за другим. Незнакомый человек ложился по соседству со мной на нары, приваливался ночью к моему костлявому плечу, отдавая своё тепло – капли тепла – и получая взамен моё». Под «небытием» автор подразумевает потусторонний, загробный мир. В лагере нет живых или мёртвых – здесь есть только заключённые. Тем не менее человек, пройдя через злость, страх, унижение, равнодушие, зависть, жестокость, ложь всё равно может найти в себе силы для возрождения. В «Сентенции» герой Шаламова восстанавливает связь с миром чрез слово, он снова начинает мыслить не как арестант, а как человек: «Прошло много дней, пока я не научился вызывать из глубины мозга всё новые и новые слова, одно за другим…».

Завершается рассказ символично: на проигрывателе кружится пластинка и играет симфоническая музыка. «И все стояли вокруг – убийцы и конокрады, блатные и фраера, десятники и работяги. А начальник стоял рядом. И выражение лица у него было такое, как будто он сам написал эту музыку для нас, для нашей глухой таёжной командировки». Позднее Шаламов объяснит этот эпизод: «На свете есть тысячи правд (и правд-истин, и правд-справедливостей) и есть только одна правда таланта. Точно так же, как есть один род бессмертия – искусство».

Писатель утверждал, что «каждая минута лагерной жизни – отравленная минута. Там много такого, о чём человек не должен знать, не должен видеть, а если видел – лучше умереть». Так зачем же тогда он с документальной точностью описывает как «зубьями государственной машины, зубьями зла» переламываются человеческие судьбы? Изображая Колыму, Шаламов высказывает мысль, что построен этот ад на земле не только тираном- Сталиным, но и всем поколением людей, допустившим это историческое безумие.

Шаламов не дожил до издания «Колымских рассказов» в Советском Союзе. Незадолго до смерти великого писателя произведение было напечатано за границей. Но автор до конца жизни был уверен, что труд его будет оценён потомками.

**Первая смерть**

Много я видел человеческих смертей на Севере – пожалуй, даже слишком много для одного человека, но первую виденную смерть я запомнил ярче всего.

Той зимой пришлось нам работать в ночной смене. Мы видели на черном небе маленькую светло-серую луну, окруженную радужным нимбом, зажигавшимся в большие морозы. Солнце мы не видели вовсе – мы приходили в бараки (не домой – домом их никто не называл) и уходили из них затемно. Впрочем, солнце показывалось так ненадолго, что не могло успеть даже разглядеть землю сквозь белую плотную марлю морозного тумана. Где находится солнце, мы определяли по догадке – ни света, ни тепла не было от него.

Ходить в забой было далеко – два-три километра, и путь лежал посреди двух огромных, трехсаженных снежных валов; нынешней зимой были большие снежные заносы, и после каждой метели прииск отгребался. Тысячи людей с лопатами выходили чистить эту дорогу, чтобы дать проход автомашинам. Всех, кто работал на расчистке пути, окружали сменным конвоем с собаками и целыми сутками держали на работе, не разрешая ни погреться, ни поесть в тепле. На лошадях привозили примороженные пайки хлеба, иногда, если работа затягивалась, консервы – по одной банке на двух человек. На тех же лошадях отвозили в лагерь больных и ослабевших. Людей отпускали только тогда, когда работа была сделана, с тем чтобы они могли выспаться и снова идти на мороз для своей "настоящей" работы. Я заметил тогда удивительную вещь – тяжело и мучительно трудно в такой многочасовой работе бывает только первые шесть-семь часов. После этого теряешь представление о времени, подсознательно следя только за тем, чтобы не замерзнуть: топчешься, машешь лопатой, не думая вовсе ни о чем, ни на что не надеясь.

Окончание этой работы бывает всегда неожиданностью, внезапным счастьем, на которое ты как будто никак и не смел рассчитывать. Все веселы, шумны, и на какое-то время будто нет ни голода, ни смертельной усталости. Наскоро построясь в ряды, все весело бегут "домой". А по бокам поднимаются валы огромной снеговой траншеи, валы, отрезающие нас от всего мира.

Метели давно уже не было, и пухлый снег осел, поплотнел и казался еще мощнее и тверже. По гребню вала можно было пройти не проваливаясь. Оба вала в нескольких местах были прорезаны перекрестной дорогой.

Часам к двум ночи мы приходили обедать, наполняя барак шумом намерзшихся людей, лязгом лопат, громким говором людей, вошедших с улицы, говором, который лишь постепенно стихает и глохнет, возвращаясь к обычной человеческой речи. Ночью обед был всегда в бараке, а не в мерзлой столовой с выбитыми стеклами, столовой, которую все ненавидели. После обеда те, у кого была махорка, закуривали, а тем, кто махорки не имел, товарищи оставляли покурить, и в общем выходило так, что "задохнуться" успевал каждый.

Наш бригадир, Коля Андреев, бывший директор МТС, а сущий заключенный, осужденный на десять лет по модной пятьдесят восьмой статье, ходил всегда впереди бригады и всегда быстро. Бригада наша была бесконвойная. Конвоя в те времена не хватало – этим и объяснялось доверие начальства. Однако сознание своей особенности, бесконвойности для многих было не последним делом, как это ни наивно. Бесконвойное хождение на работу всем по-серьезному нравилось, составляло предмет гордости и похвальбы. Бригада действительно и работала лучше, чем потом, когда конвоя стало достаточно и андреевская бригада была уравнена в правах со всеми остальными.

Нынешней ночью Андреев вел нас новой дорогой – не низом, а прямо по хребту снежного вала. Мы видели мерцанье золотых огней прииска, темную громаду леса влево и сливавшиеся с небом далекие вершины сопок. Впервые ночью мы видели свое жилье издали.

Дойдя до перекрестка, Андреев вдруг круто повернул вправо и сбежал вниз прямо по снегу. За ним, покорно повторяя его непонятные движения, посыпались гурьбой вниз люди, гремя ломами, кайлами, лопатами; инструмент никогда не оставляли на работе, там его крали, а за потерю инструмента грозил штраф.

В двух шагах от перекрестка дороги стоял человек в военной форме. Он был без шапки, короткие темные волосы его были взъерошены, пересыпаны снегом, шинель расстегнута. Еще дальше, заведенная прямо в глубокий снег, стояла лошадь, запряженная в легкие сани-кошевку.

А около ног этого человека лежала навзничь женщина. Шубка ее была распахнута, пестрое платье измято. Около головы ее валялась скомканная черная шаль. Шаль была втоптана в снег, так же как и светлые волосы женщины, казавшиеся почти белыми в лунном свете. Худенькое горло было открыто, и на шее справа и слева проступали овальные темные пятна. Лицо было белым, без кровинки, и, только вглядевшись, я узнал Анну Павловну, секретаршу начальника нашего прииска.

Мы все знали ее в лицо хорошо – на прииске женщин было очень мало. Месяцев шесть назад, летом, она проходила вечером мимо нашей бригады, и восхищенные взгляды арестантов провожали ее худенькую фигурку. Она улыбнулась нам и показала рукой на солнце, уже отяжелевшее, спускавшееся к закату.

– Скоро уже, ребята, скоро! – крикнула она.

Мы, как и лагерные лошади, весь рабочий день думали только о минуте его окончания. И то, что наши немудреные мысли были так хорошо поняты, и притом такой красивой, по нашим тогдашним понятиям, женщиной, растрогало нас. Анну Павловну наша бригада любила.

Сейчас она лежала перед нами мертвая, удавленная пальцами человека в военной форме, который растерянно и дико озирался вокруг. Его я знал гораздо лучше. Это был наш приисковый следователь Штеменко, который "дал дела" многим из заключенных. Он неутомимо допрашивал, нанимал за махорку или миску супа ложных свидетелей-клеветников, вербуя их из голодных заключенных. Некоторых он уверял в государственной необходимости лжи, некоторым угрожал, некоторых подкупал. Он не давал себе труда раньше ареста нового следственного познакомиться с ним, вызвать его к себе, хотя все жили на одном прииске. Готовые протоколы и побои ждали арестованного в следственном кабинете.

Штеменко был именно тот начальник, который при посещении нашего барака месяца три назад изломал все арестантские котелки, сделанные из консервных банок, – в них варили все, что можно сварить и съесть. В них носили обед из столовой, чтобы съесть его сидя и съесть горячим, разогрев в своем бараке на печке. Поборник чистоты и дисциплины, Штеменко потребовал кайло и собственноручно пробил днища консервных банок.

Сейчас он, заметив Андреева в двух шагах от себя, схватился за кобуру пистолета, но, увидев толпу людей, вооруженных ломами и кайлами, так и не вытащил оружия. Но ему уже крутили руки. Это делалось со страстью – узел затянули так, что веревку потом разрезать пришлось ножом.

Труп Анны Павловны положили в кошевку и двинулись в поселок, к дому начальника прииска. С Андреевым туда пошли не все – многие бросились скорей в барак, к супу.

Долго не отпирал начальник, разглядев сквозь стекло толпу арестантов, собравшихся у дверей его дома. Наконец Андрееву удалось объяснить, в чем дело, и он, вместе со связанным Штеменко и двумя заключенными, вошел в дом.

Обедали мы в эту ночь очень долго. Андреева водили куда-то давать показания. Но потом он пришел, скомандовал, и мы пошли на работу.

Штеменко вскоре осудили на десять лет за убийство из ревности. Наказание было минимальным. Судили его на нашем же прииске и после приговора куда-то увезли. Бывших лагерных начальников в таких случаях содержат где-то особо – никто никогда не встречал их в обыкновенных лагерях. 1956